

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 10. Железо и верба

“Его же в павечернее междучасие пети подобает, с малым погребцом ногтевым и суставным” – таков эпитафия из “Отпуска” к “Беседному наигрышу”, указание на балалаечный аккомпанемент, долженствующий сопровождать исполнение. Только сама по себе внутренняя былинная музыка, преодолевающая собственную тяжкую поступь, делает лишним всякое дополнительное музыкальное сопровождение. Мнится – гудит, поёт сама поспудная, поддонная сила мироздания, разбуженная, приведённая в движение злой человеческой волей.

*По рожденьи Пречистого Спаса,
В житие премудрыя Планиды,
А в усенье Поддубного старца, —
Не гора до тверди достигла,
Хлябь здынула каменную плешью
В стороне, где солнышко ночует
На кошме за пологом кумачным,
И где ночь-горбунья зелье варит,
Чернит косы копотью да сажей,
Под котлом валежины сжигая,
Народилось железное царство
Со Вильгельмищем, царищем поганым. —
У него ли, нечестивца, войска — сила,
Порядового народа несусветно;
Они веруют Лютеру-богу,
На себя креста не возлагают,
Великого говения не правят,
В Семик-день веника не рядят,
Не парятся в парной паруше,
Нечистого духа не смывают...*

“Железное царство”, народившееся “по рожденьи Пречистого Спаса, в житие премудрыя Планиды, а в усенье Поддубного старца” – грозит сокрушить всё мироздание, созданное Божественной волей... На 1 августа 1914 года – дата вступления России в войну – пришлось поминовение Всемило-

* Продолжение. Начало в № 1–9 за 2009 год.

вого Спаса и Пресвятыя Богородицы Марии. Этот же день – день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев. Старец Степан Поддубный, чьё усение приходится на этот же день, – неведомый за пределами посвящённого круга человек, знаемый олонецкими скрытниками, слова которого передавались, судя по всему, изустно, а не на письме, скрытниками, которых обозначил Клюев в эпиграфе... Западная железная рать во главе “со Вильгельмищем, царищем поганым” вступает с Русью крещёной в духовную и ратную брань, сила, идущая с железного Запада, не знает пощады живому миру, о чём и “глаголет” железный Царь:

*Ожелезил землю я и воды,
Полонил огонь и пар шипучий,
Ветер, свет колодниками сделал,
Ныне ж я, как куропоть в ловушку,
Светел Месяц с Солнышком поймаю:
Будет Месяц, как петух на жёрдке,
На острожном тыне перья чистить,
Брежжит зобом в каменные норы
И блюсти дозоры неусыпно!
Солнцу ж я за спесь, за непокорство
С ног разую красные бахилы,
Жёлтый волос, ус лихой косатый
Остригу на войлок шерстобитам...*

Месяц перестанет быть месяцем, солнце – солнцем, мироздание опрокинется в первозданный хаос... Кажется, Клюев пишет о первой мировой войне, а прозревает войну грядущую, ещё не начавшуюся, но уже подступающую к человеческому порогу и грозящую подлинным апокалипсисом... Вспоминается духовный стих “Перед вторым пришествием Христа”, где роду человеческому обещан антихристом страшный конец: “Сотворю вам небу медную, землю железную: от неба медного росы не воздам, от земли железной плода не дарую, поморю вас гладом на земле...” Угроза “царица поганого” – попущение по грехам человека, забывшего крепость старой веры, ослабевшего перед соблазнами, отринувшего благодать чистого духа. Так вещал духовный стих “Воспоминание преболезненное об злоблении кафоликов”:

*По грехом нашим на нашу страну
Попусти Господь такову беду:
Облак тёмный всюду осени,
Небо и воздух мраком потемни;
Солнце в небес искры своя лучи,
И луна в нощи светлость потемни,
Но звёзды вся потемнища зрак,
И звезды свет преложиши в мрак.*

Но и это не все вожделения “Вильгельмища”. Он намерен “выжать рожь на черниговских пашнях, Волгу-матку разлить по бутылкам...” Это покушение уже не на природное достояние – на сакральные исторические узлы, если вспомнить Михаила Черниговского. Дальше – больше: “А с Москвы, боярыни вальяжной, снимать соболью пятишовку, выплесть с кос подбрусник златотканый, осыпные перстни с ручек сбросить. Напоследки ж мощи Маккавея истолочь в чугунной полуступе... А попов, игуменов московских положить под мясо, под трепало...” И снова поражаешься зловещему предвиденью поэта.

Былинный стих Клюева начинает обретать вселенский размах, повествование выходит за пределы милой опушки, родного бора, деревни-матери... Оживают древние природные стихии и их покровители – христианское время наплывает на языческое – мифологические существа оживают, разбуженные железной поступью.

*Тысчу лет живёт Макоша-Морок,
След крадёт, силки за хвоей ставит,
Уловляет души человечесьи,*

*Тысчу лет и Лембэй пущей правит,
Осенину-дань собирая с твари:
С зайца — шерсть, буланый пух — с лешуги,
А с осины — пригоршню алтынов,
Но никто за тысчу зим и вёсен
Не внимал напеву Паскараги!
Растворила вещая Планида,
Словно складень, камень несекомый,
И запела ангельская птица,
О невзгоде Русь оповещая...*

Ото сна, при приближении супостата, будит Русь Паскарага — лесная со- рока (ни природным стихиям, ни переменам времени не добудиться до неё...). Сорока преобразается ангельской птицей, а в таинственной чаше, в утробной глуши заповедной Руси становится виден и русский леший, преображённый и наделённый силой славянской Мары и восточнославянской Макоши, следящий за людьми, — и финский лесной дух, которого ещё называли Лембо или Лем-по, покровитель лесного мира... Люди и звери, духи и святые поднимаются встречь врагу, что “не парится в парной парусе” — и этот “вселенский пар” ус- траивает ему старичище “по прозванью Сто Племян в Едином”, что “с полаты зорькою воззрися”, чем и Илью Муромца напомнил, и вызвал к новой жизни прежние поколения всех “ста племян” в единой Руси великой.

*Черпанул старик воды из Камы,
Черпанул с Онеги ледовитой,
И, дополнив ковши водой из Дона,
Три реки на каменку опружил.
Зашипели Угорские плиты,
Взмыли пар Уральские граниты,
Валуны Валдая, Волжский щербень
Навострили зубья, словно гребень...*

“Что же дальше?” — неизбежно встаёт вопрос. А что дальше — то не в ве- дении ни сказителя, ни тех, чьи голоса он слышит поныне.

*А на спрос: “откуль” да “что в последки”
Нам програет Кува — красный ворон;
Он гнездищем с Громом поменялся,
Чтоб снести яйцо — мужичью долю.*

Яйцо — начало всех начал, зародыш жизни. Новое время и новая земля — послеапокалиптические — будут ожидать рождения нового мужика... А Кува — красный ворон...

Ворон — вещая птица, владеющая тайнами жизни, и век его намного дольше человеческого. Его имя у народов Северной Азии начиналось на “ку” (курыкль — у чукчей, кутх — у ительменов, куйкынню — у коряков). Также и у североамериканских индейцев имя героя-ворона начиналось на “ку” (и здесь неизбежно вспомнишь одно из классических произведений североамериканской поэзии — “Песнь о Гайавате” Генри Лонгфелло, известное в России в переводе Бунина). Так или иначе — Кува до сих пор остаётся загадкой, ко- торую есть живой смысл разгадать.

“Беседный наигрыш, стих доброписный” стал одним из любимых клюев- ских сказов для публичного исполнения, причём даже зрители, практически совершенно незнакомые с северным наречием, настоящном на древнейших корнях, положенным в основу словесного строительства наигрыша, не могли сдержать своего восхищения плотной, тягучей, многоступенчатой образнос- тью, таившей, как в системе колодцев, поддонный смысл, спрятанный на дне витиеватой постройки. Были, конечно, и такие, кто в недоумении морщился или пожимал плечами, проговаривая про себя неизменное: “стилизация”... Да и поныне разделяющим “учёное понятие о том, что писатель-певец дурно делает и обнаруживает гадкий вкус, если называет предметы языком своей местности, т. е. всё-таки языком народным” (как писал Клюев Миролубову)

“Беседный наигрыш” покажется “неудучей солодыгой без прихлёбки”. Особенно теперь – в эпоху господства телевизионного жаргона и практически повсеместной потери самих основ народного языка.

* * *

Ещё зимой 1914 года Клюев писал Миролюбову, делаясь с ним восхищением от ноябрьского номера “Ежемесячного журнала”: “Как он радует меня, Ваш журнал! Какие чудесные вещи у Гребенщикова! А я вот всё не могу написать Вам рассказа, хотя и копошится в голове кой-что, но так много уходит ясных, свежительных дней на чёрный труд, что немного остаётся времени на писанье стихов, в которых есть любовь... Вскоре пришлю Вам “Избьяные песни”. А. Ширявец – мой знакомец и, по-моему, подвига(е)тся вперёд. Душа у него хорошая, он молоденький и собой пригожий, а это тоже хорошая примета. От всего сердца желаю Вам здоровья и успеха. Нельзя ли мне написать адрес Гребенщикова, так тянет поговорить с ним – милым и таким могучим...”

Они поговорят вскоре, когда встретятся у Евгения Замятина, к которому Клюев придёт вместе с Есениным, и Гребенщикова поразит клюевский внешний вид и манера чтения стихов: “Его моржовые усы полузакрывали широко открытый рот, он закрывал глаза, и голос его чеканил удивительный узор из образов и слов северного эпоса. Это был баян, сказитель, слепой калика перехожий”.

А тогда – тогда Клюев читал рассказы Гребенщикова из деревенской жизни, публикуемые Миролюбовым: “Змей Горыныч”, “Лесные короли”... Герой последнего рассказа, лесничий Михаил Григорьевич, “чувствовал какую-то отеческую нежность к каждому деревцу, ко всякому ручью, дорожке, камешку, как будто всё это были его давнишние и младшие друзья, которых надо заботливо любить и охранять”. Клюев, ценивший всякую зримую, вещную, художественно выверенную деталь, наслаждался умением Гребенщикова выписать портрет героя, который “одевался просто, в бобриковую верблюжью тужурку, в высокие, простые сапоги, в шапку-ушанку без кокарды. Большого роста, плотный, с полуседой подстриженной бородкой, он походил бы на прасола, торгующего лошаадьми, если бы не носил золотых очков и не обладал певучим, мягким, барским голосом”; а его зазноба Зеновея, жена богача Антропа, восхищала по-своему: “...Он увидел красивое, открытое лицо, смугло-матовую и высокую, обвитую янтарями шею и пышные, крутые плечи, не прикрытые ничем...” Николай и Ширяевцу напишет по поводу его стихов в “Ежемесячном журнале”: “Твоей мuke я радуюсь – она созидающая, Ванька-Ключник сидит в тебе крепко, и если он настоящий, то ты далеко пойдёшь. Конечно, кроме слов “баярин, молодушка, не замай, засонюшка” необходимо видеть, какие пуговицы были у Ванькиной однорядки, каков он был передом, волосаты ли у него грудь и ляжки, были ль ямочки на щеках и мочил ли он языком губы или сохли они, когда он любезничал с княгиней? Каким стёгом был стёган слёзный ручной платочек у самой княгини и употреблялись ли гвозди при постройке двух столбов с перекладиной? И много, страшно много нужно увидеть певцу старины...” ...Михаил Григорьевич, схитивший жену у Антропа, одаривший её беременностью, получает своё на медвежьей охоте: задранный “лесным князем” в Медвежьем Логу (вспомнились тут Николаю материнские рассказы), он и сам убивает зверя, и умирает в избе хозяина, что вывел его на берлогу – избрал медведя “судьёй”... Да и сам старовер Антроп Савельич, молчащий по старому обычаю во время трапезы и не произносящий за столом имя хозяина леса, со своим обиходом надолго врежется в память:

“Огромные дворы раскинулись обширно, их звенья плотны и высоки, повети покрыты сплошной жердью, столбы, ворота – из лучшего строевого кедрача... Коренастые амбары расселись важно, как бояре, с туго нахлобученными тесовыми крышами, теперь придавленными снегом. И посреди амбаров, как древний царь среди бояр, возвышается суровый, серый, крепкий дом в два этажа. Его крутая крыша, решётчатая загородка на глухом крыльце, маленькие, точно прищуренные, окна и низенькие двери – всё говорило о том, что строил человек тугой, расчётливый и осторожный, ревниво берегущий и своё добро, и предрассудки дедов.

И Михаил Григорьевич проникся вдруг невольным уважением к маленькому седенькому старичку, с причёсанными висками на плешивой голове и с узенькой святительской бородкой, когда старичок этот в одной длинной расписной рубахе появился на крыльце, встречая гостя”.

Почти через два десятка лет Клюев вспомнит этого героя и его портрет, напомнивший ему его собственный облик, – вспомнит и запечатлеет в новых стихах.

*Я — Прасковьян сын, из всех любимых,
С лебединым выводком в зрачках,
С заячьей порошей в волосах,
Правлю первопуток в сталь и дымы,
Кто допрежде — принимай-ка Клима,
Я — Прасковьян сын, цветок озимый!
Голос мой — с купавой можжевель,
Я резной, мудрёный журавель,
На заедку поклевал Верлена,
Мылил перья океанской пеной,
Подивись же на меня, Европа, —
Я кошица с перлами Антропа!*

Этот обиход, явленный в красоте каждой детали, этот вид русского человека, каждая природная черта тела и одеяния которого прекрасна сама по себе и вкупе с другими чертами и деталями составляет целую смысловую симфонию, “красно украшенную”, это жилище, находящееся на средостении земного и небесного миров, вмещающее в себя всё тепло природного, человеческого и неземного, освящаемое Божьим словом и прикосновением, – всё это сейчас служит Клюеву в апокалипсическое время – крепостью, обороной, заветным кладом, который не достанется железному врагу, вступившему на Русь извне и поднявшемуся изнутри... “Присылаю тебе вид одного из погостов Олонии, – писал Клюев Ширяевцу поздней осенью 1914 года. – Неизъяснимым очарованием веет от этой двадцатичетырёхглавой церкви времён Ивана Грозного (официально считается, что Покровская церковь в селе Анхимово, о которой идёт речь, была построена в 1708 году, но Клюев знал о ней, очевидно, больше, чем историки церковной архитектуры. При первоначальной постройке она имела 25 глав, но при дальнейшей перестройке стала 21-, а позднее – 17-главой и была сожжена в 1963-м, во время очередной лютой войны с Православием. – С. К.)... Всмотрись, милый, хорошенько в этот погост, он много даёт моей душе, ещё лучше он внутри, а около половины марта на зорях – кажется сказкой... Сегодня такая заря сизопёрая смотрит на эти строчки, а заяц под окном щиплет сено в стогу. О мать пустыня! рай душевный, рай мысленный! Как ненавистен и чёрен кажется весь так называемый Цивилизованный мир, и что бы дал, какой бы крест, какую бы Голгофу понёс, чтобы Америка не надвигалась на сизопёрую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку...” Америка не случайно появляется впервые у Клюева именно в это время – с началом войны, в предчувствии грядущего апокалипсиса. В “Ежемесячном журнале” он внимательно читал корреспонденции Станислава Вольского “Из Америки” – и чем дальше читал, тем более приходил в ужас от описания этого расчеловеченного мира, лишённого сердечного тепла и Божьей благодати.

“Чёрными лентами опоясывают улицу несчётные автомобили и воют, шипят, фыркают, как пугливые кони, дают посторонних, рвутся вперёд в бешеном, никогда не останавливаемом беге. Бегут, толкаясь локтями, подростки с кипами газет и надорванными голосами выкрикивают самое сенсационное, самое новое, самое невероятное событие последнего часа. Того, что случилось вчера, не помнит никто... Те, кто убиты, изнасилованы и расстреляны вчера, забыты ради тех, кого успели убить и изнасиловать сегодня ночью. Мысль не ищет объяснений, не спрашивает “зачем”, не доискивается причин. Ей некогда. Она занята планами и спекуляциями, связанными вот с этими домами, с этими трамваями, с этими конторами, банками и лавками. А если спекулировать нечем – остаётся забота о хлебе насущном, о том, чтобы приискать более выгодную работу и скорее, как можно скорее пролезть в люди и

приобщиться к сонму тех счастливых, что завтракают с часами, с хронометрами в руках и потные, красные ураганом носятся по кулуарам биржи... И подобно тому, как этажи лезут на этажи, и поезда проносятся над поездами – так и газетные пустяки, анекдоты, рекламы и подлинные события громоздятся друг за другом, слипаются в один неразличимый ком... В пьяной пляске, словно сумбурные грёзы лихорадочного бреда, проносятся строчки за строчками, сенсация за сенсацией. Читатель глотает их наскоро, как предобеденных устриц. И кажется ему, что за тысячу миль от него, в далёкой Европе, да по-видимому и вообще на пространстве всей вселенной, всё свершается так же хаотично, бессмысленно, дико, как в этом городе-гиганте, в этом царстве небоскрёбов, грохочущих поездов, хриплых криков, безумных скачков от нищеты к миллионному дворцу и от миллионного дворца к ночлежке.

Нью-Йорк – это канат над пропастью. Тысячи людей идут по нему и грезят о несбыточном – обрываясь, падая, увлекая за собой соседей. Сорокаэтажные дома – это памятники их грёз, немые свидетели их головокружительных полётов”.

Чем более страха и тревоги за свой родимый мир на душе – с тем большим тщанием этот мир выстраивается, тем более живописными цветами наделяется, а пристальный глаз поэта и духовидца усматривает незримую для других жизнь в домашнем обиходе... И если у Мориса Метерлинка, чья “Синья птица” уже была явлена на сцене Художественного театра, всё немое говорило и неодушевлённое оживало ровно на одну ночь, то у Клюева живая жизнь обихода вечна для умеющего зреть и слышать потаённое дыхание, скрытый взгляд, безмолвное слово... Этот мир исподволь раскрывался в его стихах на протяжении двух лет, чтобы, наконец, предстать перед смущённым и восхищённым читателем во всей красе – в стихах, объединённых позднее в цикл “Избьяные песни”, что будут посвящены памяти любимой матери.

* * *

Первые стихи цикла, относящиеся к 1914 году, воплощают родимый сызмальства мир, насыщенный приметам, предвещающими наступление рокового: “Если полоз скрипит, конь ушами прядёт – будет в торге урон и в кисе недочёт. Если прыскает конь и зачесется нос – у зазнобы рукав полиняет от слёз... Дятел угол долбит – загорится изба, доведёт до разбоя детину гულба... При запалке ружья в уши кинется шум – не выглаживай лыж, будешь лешему кум...” Все приметы известны покою веков – и их шёпоту и скрипу внимали далёкие предки, ещё не молившиеся Христу. Лишь Божья благодать – надёжный защитник, как “Сон пресвятой богородицы Девы Марии”, который крестьяне зарывали под порогом избы.

*Семь примет к мертвецу, но про них не теперь, —
У лесного жилья зааминена дверь,*

*Под порогом зарыт “Богородицын Сон”, —
От беды-худобы нас помилует он.*

С кончиной матери словно тёмная пелена ложится на Божий мир, и поначалу ни единый луч света не освещает сущего – весь разговор души осиротевшего сына с незримыми силами длится в сплошных потёмках. “Насупилась изба. И оком оловянным установилось окно в капель и темноту...”, “Увы, напрасен сон. Кудахчет тщетно рябка, что крошек нет в зобу, что сумрак так уныл – хозяйка в небесах, с мурлыки сшита шапка, чтоб дедовских седин буран не леденил...”, “Заблудилось солнышко в корбах темнохвойных, износило лапчатый золотой стихарь: не бежит ли красное от людей разбойных, не от лых ли кроется в сутемь да в марь?..”, “Переключка гагар, вод дремучая дремь, и в избе, как в дупле, рудо-пегая темь...”, “В домовище матушка... Пасмурной округою водит мглу незрячую поводырка жуть...” Здесь вступает в свои права Судьба – Судьба, несущая Смерть. И на помощь призываются как небесные силы (“Одолеть судьбу-змею скачет пламенный Егорий...”), так и родное живое и таинственное многознающее существо – хранитель домашних

тайн и безмолвный своенравный собеседник, кот, что сродни коту, хранящему тайны заветного дуба в пушкинском Лукоморье.

*Ой, вороны-сны, у невесты моей
Не выклевать вам беспотёмных очей!
Летите к мурлыке, на тёплый шесток,
Куда не заглянет прожорливый рок,*

*Где странники-годы почили золой
И бесперечь хнычет горбун-домовой:
Ужели плакида — запечный жилец
Почуял разлуку и сказки конец?*

*Кота ж лежебока будите скорей,
Чтоб был настороже у чутких дверей,
Мяукал бы злобно и хвост распушил,
На смерть трясогузу когти острил.*

Эти животные видят присутствие тёмных сил в доме и ощетииваются при их появлении, а перед смертью, выпуская когти, словно бросаются в последний бой со злодейкой, пришедшей за ними.

...Раздвигаются стены избы, где слышны “запечных бесенят хихиканье и пляска” и шёпот заплаканного горшка с таганом, горяющих, “что умерла хозяйка”, внутреннее зрение оставляет позади двор, “где кудахчет тщетно рябка” и понурилась корова, “смерть постигая звериным умом”, — и, словно райское видение, предстаёт перед нами староверческое село, больше напоминающее град Китеж, где моленная обретает вселенский масштаб в образе вертикали, соединяющей земной и небесный миры, выстроенная по староверческим и апокрифическим сказаниям и где ожидается воскресение ранее усопших и пришествие Христа во исполнение молитв — где тропарь, поющийся на утрене в первые три дня Страстной седмицы, и стихира, поющаяся в Великий пяток, органически сплавлены с огненным пророчеством Иоанна Богослова и словом о сошествии Христа во ад.

*Моленна в селе — семискатный навес:
До горнего неба семь нижних небес,
Ступенчаты крыльца, что час, то ступень,
Всех двадцать четыре — заутренний день.*

*Рундук запорожный — пречудный Фавор,
Где плоть убелится, как пена озёр.
Бревенчатый короб — утроба кита,
Где спасся Иона двуперстьем креста.*

*Озёрная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По Пятничным зорям на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:*

*“Сладчайшего Гостя готовьтесь принять!
Грядет Он в ночи, яко скимен и тать;
Будь парнем женатый, а парень, как дед...”
Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глубы уходит столбом
До сердца земного, где праотцев дом.*

*Там, в саванах бледных, соборы отцов
Ждут радужных чаек с родных берегов:
Летят они с вестью, судьбы бирючи,
Что поправа Бездна и Ада ключи.*

Древнее староверческое сказание об Ионе, что осенил себя двуперстием и был исторгнут из китовьего чрева, и световые столбы, уходящие в водные глубины, оставляя на поверхности таинственные круги, — приметы мира, познать который можно лишь храня телесную чистоту и обладая разумом убеждённого седины старца... А пришествие пречудного святителя предшествует явлению Иоанна Крестителя, что “с чашей крестильной и голубь над ним...” Они являются при солнечных лучах, когда схлынет “сутемень” и “марь”... “А там, где святые росой прошли, с курлыканьем звонким спуют журавли...” Журавли, несущие материнскую душу туда,

*Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселём, словно кипень, белы, —
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель Иван с енды расписной
Их поит живой Иорданской водой!..*

Это стихотворение, что начинается с прихода четырёх вдовиц для свершения скорбного обряда, выстроено по “принципу радуги”, когда действие начинается в избе во время положения родительницы на скамью, затем, в такт звуковой природной симфонии, переносится в небесные выси, куда материнскую душу уносит журавлиный клин, и снова возвращается на землю, но уже не в избу — а в закат-золотарь, в “сутёмки, зарянку и внучку-звезду”, что сопровождают прах любимой матушки в последний путь. И вспоминается похоронное причитание о том, как “душа да с белым телом расставалася, быв как облако, она да подымалася”. И успокоительные слова собравшихся на провожание: “Мы здесь-то в гостях гостим, а там житьё вечное бесконечно будет”.

А в кличе журавлей явственно слышен голос отца Аввакума, послания которого читала вслух матушка и наставляла читать Николеньку. Аввакума, слышавшего в Тобольске рассказ девицы Анны, что “девство своё непорочно соблюла”, о сне, привидевшемся ей: “Егда-де я, батюшко, на лавку повалилась, приступили два ангела, и взяли меня, и вели зело тесным путём. На левой стране слышала плач с рыданием и гласы умильные. Там де привели меня во светлое место: жилища и полаты стоят, и едина полата всех болши и паче всех сияет красно. Ввели-де меня в нея, а в ней-де стоят столы, а на них послано бело. И блюда с брашнами стоят. По конец-де стола древо многоветвенно повеваает и гораздо красно, а в нём гласы птичьи умильны зело — не могу про них ныне сказать. Потом-де меня вывели из нея. Идучи спрашиваю: “Знаешь ли, чья полата сия?” И я-де отвечала: “Не знаю, пустите меня в нея”. И оне мне отвечали сопровтив: “Отца твоего Аввакума полата сия. Слушай ево, так-де и ты будешь с ним. Крестися, слагая персты так, и кланяйся Богу, как он тебе наказывает. А не станешь слушать, так будешь в давешнем месте, где слышала плакание то. Скажи жо отцу своему. Мы не беси, мы ангели; смотри — у нас и папарты (маленькие птичьи крылышки. — С. К.)...”

“Избяные песни” — песни, что поёт сама изба. И уже за пределом цикла рождаются стихи, в которых изба начинает петь, светиться, играть всей радугой в минуты своего “рождества”, когда любая деталь, выходящая из-под топора “крепкогрудого плотника”, начинает жить поначалу своей жизнью, а в процессе дальнейшего “древоделия” подчиняется общему замыслу, в соответствии с которым перед нашими глазами встаёт не дом, а вселенское чудо, живая краса, что будет вечным спутником и оберегом счастливого насельника.

*По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сон мерещились — легки.*

*Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепя как письма:
Запоёт резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.*

Изба помнит и хранит всё, и даром, что “время, как шашель, в углу и за печкой дерево жизни буравит, сосёт...” Древние парки тянули жизни нить и обрезали её в урочный час – и в этом прикосновении лезвия к нити было мгновенное веление неумолимого рока. У Клюева Судьба также отмеряет свой срок всему живому, но её лик – лик древней старухи, хранящей заветы тысячелетий, – и в её нити и игле не только начало и конец срока, но начало перехода в вечное и немое сказание вечности, разлитое в воздухе, напоющем русское село.

Но не происходит ли здесь в сознании Клюева раздвоения ставшего единым в русском сознании двуипостасного образа – языческой Мокоши, соприкасающейся с демонологическим божеством севернорусских преданий Мокушью, женщиной с большой головой и длинными руками, что прядёт по ночам оставленную задремавшей хозяйкой кудель в дни Великого поста, – и Параскевой-Пятницей, покровительницей любимой матери, когда со смертной нитью, плетущейся судьбой-старухой, одновременно прядётся жизнедательная нить Девой-благодатью?

*Всё прах и дым. Но есть в веках
Богорождённый час,
Он в сердобольных деревнях
Зовётся Светлый Спас.*

*Не потому ль родимых сёл
Смиренномудрен вид,
Что жизнедательный глагол
Им явственно звучит,*

*Что небо теплит им огни,
И Дева-благодать,
Как тихий лён, спрядает дни,
Чтоб вечное соткать?*

Это “вечное” стучится в каждую клетку тела поэта, отзывается сладкой и мучительной болью в каждом нерве, нагружает мозг непосильными думами, когда мысли о близкой смерти всё чаще и чаще начинают посещать его: “Вы, деньки мои, голуби белые, а часы – запоздалые зяблики, вы почто отлетать собираетесь, оставляете сад мой пустынею?.. Аль иссякла криница сердечная, али веры ограда разрушилась, али сам я – садовник испытанный – не возмог прикормить вас молитвою?..” Он сам, отбирая лишь самые нужные слова, изнемогающий под гнётом мыслеобразов, ткёт своё “вечное”, в котором природа уже не храм, где молится человек Богу, где “мнится папертью бора опушка”. Там, где “сосны полились, ладан курая” – уже всё мироздание отправляет свою молитву, готовясь к отплытию... “Дрозд запел “Блажен муж” и “Кресту Твоему”... Утомилась осина вязать бахрому. В луже крестит себя обливанец-бекас...” И сам поэт, кающийся в том, что “неудачен мой путь, тяжёк мысленный воз”, готов отправиться в вечное плавание вслед за матушкой в те небесные края, что предвещаны отцом Аввакумом в его великом “Житии”.

*Там, под Дубом Покоя, накрыты столы,
Пиво жизни в сулеях, и гости светлы –
Три пришельца, три солнца, и я Авраам,
Словно ива ручью, внемлю росным словам:
“Родишь сына-звезду, алый песенный сад,
Где не властны забвенью и дней листопад,
Где берёза серьгою и лапою ель
Тиховейно колышут мечты колыбель”.*

“Родишь сына-звезду”... Это – первое начертание Клюевым предвестия наследника, которого должно породить его – предшественника – слово. Здесь ещё нет мотива физиологического оплодотворения, который возьмёт своё в более поздних стихах – оплодотворения, произведённого Словом...

Это – ещё лишь предвестие, смыкающееся с произнесённым некогда предвестием “дивного прохожего”, что

*В Выгово шёл налегке,
С матерью-скрытницей Божьей
Сходство нашёл в пареньке.*

*Баял: “Пречудна Лукерья –
Града то-светного дочь,
Мужу за нечесть безверья
Выбодал душеньку зверь”.*

*Вторя старухиным думам,
Плещет за ставнею куст:
“Будет твой внук Аввакумом,
Речью ж Иван Златоуст”.*

Слова матушки из реальной жизни органически вплетаются в миф о тятеньке, “запоротом лосихой” – за “нечесть безверья”. Здесь и лосиха выступает как священное животное, если вспомнить, что в северных преданиях “лосем” называли Млечный Путь, и то, что медведь и лось в финно-угорских преданиях, хорошо знакомых Клюеву сызмальства, сопровождают человека с рождения и на протяжении всей жизни... Весь животный и растительный мир, уже покинувший своё “животное” и “растительное” состояние, принявший крещение и осенённый Божьей Благодатью, становится учителем и наставником “кудрявого мальчика”, для которого время в этом мире ступает семимильными шагами – и он оглянуться не успевает, как сам готов стать “тятенькой”, отягощённым знанием, полученным в открытой ему природной “книге”:

*Рыжее жнивье — как книга,
Борозды — древняя вязь,
Мыслит начётчица-рига,
Светлым реченьям дивясь.*

*Пот трудолюбца июля,
Сказку кряжистой избы –
Всё начертала косуля
В книге народной судьбы.*

.....
*Что начертала косуля,
Всё оборотится в быль...
Эх-ма! Лебёдка Акуля,
Спой: “Не шуми, чернобыль!”*

Этот мир стоит на пороге уничтожения человеком – человеком с железной поступью, с железной хваткой, железными мыслями, посланцем железа... И Клюев, с благоговением входящий в лесную чащу, заклинает её словом любви – её, уже страшашуюся человеческой поступи.

*Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая, лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потёмки дупел, синь живая!*

*Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам берёзы седовласой.*

.....

*На мху, как в зыбке, задремать
Под “баю-бай” осиплой ели...
О пуща-матерь, тучки прядь,
Туман пушистее кудели.*

Он, неслышными шагами вступающий в пущу-матерь, слышит шаги ино-го пришельца, от поступи которого всё живое стремится затаиться в глухой, недоступной человеку чаще.

*Обозвал тишину глухоманью,
Надругался над белым “молчи”,
У креста простодушною дланью
Не поставил сладимой свечи.*

*В хвойный ладан дохнул папирасой
И плевком незабудку обжѐг, —
Зарябило слезинками плѐсо,
Сединою заиндевел мох.*

*Светлый отрок — лесное молчанье,
Помолясь на заплаканный крест,
Закатилось в глухое скитанье
До святых, незапятнанных мест.*

*Заломила черѐмуха руки,
К норке путает след горностаи...
Сын железа и каменной скуки
Побирает берестяный рай.*

Супротив попракия “поднимались мужики — пудожане, с заонежской кряжистой карелой, с каргопольской дикою лешнёю, со всей полесской хвойной силой, постоять за крещёную землю, за зелёную мать-пустыню, за берёзыньку с вещей кукушкой...” Это уже “Мирская дума”, написанная весной 1915 года, где явлено противостояние и физическое, и духовное, — и где “полесской хвойной силе” является во укрепление инок Лазарь, что основал в XIV веке Муромский монастырь на берегу Онежского озера (он же — евангельский Лазарь, воскрешённый Христом, эти два образа спаяны у Клюева неразрывно), изоряющий “сказ медвяный” на спрос мужиков: “Что помеха злomu кроволи-тью — ум-хитрец аль песня-межеумка, белый воск аль чёрное железо?” О муромском священноиноче Лазаре, что родом из Константинополя, и игумене монастыря преподобном чудотворце Афанасии Клюев изронит позже своё золотое слово в “Гагарьей судьбине”.

“От деревни Титовой волок сорокавёрстный (сорок — счёт не простой) на-мойной белой лудой убегает до Муч-острова. На острове, в малой церковке царьградские вельможи живут: Лазарь и Афанасий Муромские. Теплится их мусикия — учёба Сократова — в булыжном жёрнове, в самодельных горшочках из глины, в толстоцепных веригах, что до наших дней онежские мужики раче-ньем церковным и опоклонением оберегают”.

Каждый предмет, каждая деталь обихода, сохранившаяся в тёмных мона-стырских стенах, воскрешает в сознании Клюева физический и духовный об-лик святых. “Учёба Сократова” — духовное и культурное достояние античного мира — оживает в деяниях византийцев, пришедших на Русь, прозреваемых духовным оком провидца начала века XX-го.

Не один Клюев прозревал эту неразрывную связь, эту незримую переда-чу духовного наследия.

“Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от свя-щенного огня Византии, в руки принимая, как драгоценнейшее состояние, Прометеев огонь Еллады”, — так писал о. Павел Флоренский о русской ико-нописи. Клюев эту связь видит не только в иконописной традиции.

Высшие духовные достижения разнородных культурных миров он начина-ет объединять в своей поэзии именно в годы первой мировой войны, когда, кажется, вся мировая культура да и сам род человеческий стоят на грани

уничтожения. И здесь он в полной мере наследует своим “праотцам”, что несли в себе средоточение высших взлётов человеческого духа и в начале XVI века, ещё до никоновской реформы, украшали Архангельский и Благовещенский собор в Кремле фресками, виденными Ключевым, где на “Древе Иисеевом” – изображении родословной Христа – видны вместе с Давидом и Соломоном русские князья Дмитрий Донской, Василий Дмитриевич, Иван III, Василий III, а на стенах галереи рядом с византийскими святыми – Зороастр, Гомер, Платон, Пифагор, Гермес Трисмегист, Аристотель, Диоген, Фукидид, Птоломей, Вергилий, Плутарх...

Восставший из домовины Лазарь, что почитал “пятьсот годин в колоде”, вещает о чуде, сотворённом после его кончины:

*Смерть моих костей не обглодала,
Из телес не выплавил сала,
Чтоб отлить свечу, чей брезг бездонный
У умерших теплится во взоре,
По ночному кладбищу блуждает,
Череп на плитах выжигая...*

Это отзвук старой легенды, пересказанной любимым Ключевым Николаем Семёновичем Лесковым о мужике, которого убили односельчане во время чумы и из расплавленного сала которого сделали свечи, и капли их капали на могильные плиты, дабы спасти оставшихся... Чёрная магия бессильна перед святым, восставшим из колоды, чьё главное поучение в том, что “железо проклято от века: им любовь пригвождена ко дереву, сожаленью рёбра перебиты...” Любовь – Христос, а железо несёт смерть Любви, тогда как “белый воск и песня-недоумка истекли от вербы непорочной”, что “ведёт зелёный тайный причет про мужицкий рай, про пир вселенский, про душевный град, где “Свете Тихий”...” Именно за вербой ходили в лес до восхода солнца в Лазареву субботу, накануне Вербного воскресенья. После освящения вербой хлестали скот “для здоровья” и для него же ударяли каждого члена семьи. Освященные в церкви ветви ставили и ставят в красный угол рядом с иконами – они защищали дом и всё хозяйство от грома и молнии, а насельников дома от болезней и стихийных бедствий.

*И тропарь зелёный кто учует,
Тот на тварь обуха не поднимет,
Не подрубит яблони цветущей
И веслом бездушным вод не ранит... —*

так завершает свой “сказ медвяный” восставший от своего пятисотлетнего сна Лазарь Муромский, а благоговейно слушавшая его “кагопольская лешня” и “заонежская карела” вспоминают в ответ старый сказ о Дедере Храбром, что переключается с народной песней о Кудеяре, в своё время использованной Николаем Некрасовым.

*...Был Дедеря лют на кроволитье,
После ж песни стал как лист осенний:
Сердцем в воск, очами в хвой потёмки,
А кудрями в прожелть листопада.*

Это последнее заклинание железа “хвойной силой” – заклинание, уже начинающее утрачивать собственную силу.

* * *

“Я никогда не был в Олонецкой губернии, – писал Маяковский в одной из своих статей начала войны, – но я достоверно знаю – сегодня её пейзаж изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые пушки... Тот не художник, кто на блестящем яблоке, постав-

ленном для натюрморта, не увидит повешенных... Можно не писать о войне, но надо писать войною!”

Олонецкая губерния (а назвать можно было в этом контексте абсолютно любую) появилась здесь в прямой связи с Клюевым, стихи которого и в “Сатириконе”, и в “Ежемесячном журнале”, и в “Биржевых ведомостях” Маяковский внимательно читал и, естественно, отвергая чуждый себе словарь и чуждую себе поэтику (“возненавидел всё славянское”, как позже сам признавался в автобиографии “Я сам”), в полемическом задоре не мог не отметить (через упоминание Олонии) изменение пейзажа в самой клюевской поэзии... Пройти мимо Клюева не мог уже никто из пишущих и размышляющих о поэтах в связи с началом войны.

Николай жил по-прежнему в отцовском доме в Мариинском, с питерскими литераторами связывался лишь более или менее регулярно посылаемыми и получаемыми письмами, его стихи постоянно появлялись в периодике, печатались в антологиях “Современные русские лирики” и “Избранные стихи русских поэтов”. Их брали в свои сборники и хрестоматии и Янко Лаврин, и Ольга Озаровская, и Анастасия Чеботаревская... Он стал одной из центральных фигур “литературного процесса” и, как одна из центральных фигур, стал предметом полемики, в которой неумеренные подчас похвалы перемежались с уничтожением на пределе брани.

Он продолжает писать Измайлову: “Будьте милостивы, пришлите мне вырезки с моими первыми к Вам стихами – их всего четыре, из которых одно – “В родном углу” я получил при Вашем ко мне письме”... “Я давно послал Вам письмо со стихами “Гей, отзовитесь курганы” и “Рыжее жнивье” – погодились ли для газеты? Посылаю Вам ещё песню, буде годится, то побеспокою Вас просьбой выслать мне деньги. Мука у нас 20 руб. куль, пшено 15 коп. фунт, не знаю, как перебьёмся этот год”... “Стихот/ворений/ было два – одно “Как у кустышка” и другое про солдатку, как Вы сообщаете, похеренное цензурой... Присылаю Вам ещё два стихот/ворения/ – одно из них как будто и не военное, но навеяно оно переживаемым временем”... “Усердно прошу Вас посоветовать мне о следующем: стоит ли издавать мне мои песни о теперешних событиях отдельной книжкой, и если стоит, то не укажете ли Вы мне подходящего издателя, т. е. такого, который бы мне заплатил за книгу и взял бы на себя корректуру...” Пишет Берману, редактору “Голоса жизни” (“...Живу в бедности и одиночестве и был бы обрадован несказанно, если бы Вы нашли возможность выслать мне Ваш журнал...”); Некрасову, издателю “Лесных былей” (“Не угодно ли Вам издать мои песни о войне, которые в печати имеют большой успех, и почти каждая вызывает газетные обсуждения, что подтверждает прилагаемое письмо А. Измайлова, отзыв которого для продавца действеннее, чем отзыв Вячеслава Иванова и т. п. С выходом новой книги неизбежно увеличится спрос и на мои прежние книги “Лесные были” и “Сосен перезвон”, потому что новая моя книга под названием “За родину” не может пройти незамеченной...”). Он по-прежнему не может выйти из состояния полунищеты, ибо практически всё заработанное публикациями и книгами отдаёт в домашнее хозяйство, которое с началом войны в условиях неуклонно повышающихся цен требует всё большего и большего. В письме к Константину Некрасову он доходит до того, что впервые предлагает купить самое заветное: “У меня на примете есть несколько икон, по-моему, 14 или начала 15 века “Восхищение пр. Илии”, “Воскрешение мёртвых” и несколько одношельных медных складней. Как поеду в Москву, ото завезу их Вам”. В конце 1920-х – начале 1930-х годов этот мотив займёт едва ли не центральное место в письмах Клюева ко многим адресатам.

Он продолжает интересоваться новыми выходящими поэтическими книгами, хвалит “многие стихи” в “Громокипящем кубке” Северянина, “азиатские” стихотворения Константина Липскерова, проявляет интерес к поэзии Натальи Крандиевской и Павла Сухотина – у него нет тяги к сплошь “громким” именам, его интересует всё более или менее ценное в тогдашнем стихотворчестве. Именно в стихотворчестве, а не в “литературной жизни”, отношение к которой сформировалось в клюевском восприятии раз и навсегда, о чём он в самых резких тонах пишет Миролюбову, казня и самого себя жёсткими упреками за то, что поддался хоть отчасти влиянию этой самой “жизни”: “В последних моих к Вам письмах были нехорошие строки – в них я любовался собой как поэтом – простите меня, Бога ради, за них – они написаны не из

совести, а по подсказу со стороны — людьми жестокосердными и стоящими вне матери-жизни. Я во многом провинился в последнее время, но теперь болел и казнию вдобавок себя за провинки — за измены своей природе ради похвалы глупых — ничего не смыслящих в жизни — людей. Если теперешнее моё состояние пройдёт болезнью — то я спасён, если же и болезнь не выручит, то надеяться не на что — больше меня как поэта существовать не будет"... Эти "нехорошие строки" были на самом деле отнюдь не строками "любования собой, как поэтом" — это воспоминание о том, что "Ахматова и компания не верят в моё понимание искусства"... Ответ на "фырканы" столичных поэтов, пусть и заочный, Клюев уже готов считать грехом в своём уединении, он стремится говорить в своей корреспонденции лишь добрые слова о прочитанном и не прощает себе ни одного эмоционального срыва... Впрочем, его мысли уже далеко уходят от сиюминутных откликов на чужую поэзию — и отзвон тамашней братии на его стихи... Он чувствует в себе сущностный перелом, всё явственнее отражающийся в стихах, в их густой, всё нарастающей в образной красочности фактуре, которая насыщается не только из-за облачных высей... Тревога и нешуточный страх слышны в строках его письма Ширяевцу: "Так тяжело себя я чувствую за последнее время, и тяжесть эта особенная, испепеляющая, схожая со смертью: не до стихов мне и не до писем, хотя и таких дорогих, как твои. Измена жизни ради искусства не остаётся без возмездия. Каждое новое произведение — кусочек оторванного живого тела. И лжёт тот, кто книгу зовёт детищем. Железный громыхающий демон, а не богиня-муза — помога поэтам. Кто не молится демону, тот не поэт. И сладко и вместе нестерпимо тяжело сознать себя демонопоклонником..." В устах любого из символистов или акмеистов это прозвучало бы если не как сущее пихонство, то, во всяком случае, как нечто играющее на "литературную" гордыню... У Клюева же с его сверхчувственным опытом подобные размышления поистине чреватые подлинной трагедией.

"Человеки делаются способными видеть духов при некотором изменении чувств, которое совершается неприметным и необъяснимым для человека образом, — писал епископ Игнатий Брянчанинов. — Он только замечает в себе, что внезапно начал видеть то, чего доселе не видел и чего не видят другие, — слышать то, чего доселе не слышал. Для испытавших на себе такое изменение чувств оно очень просто и естественно, хотя необъяснимо для себя и других; для неиспытанных — оно странно и непонятно... Желание видеть духов, любопытство узнать что-нибудь о них и от них есть признак величайшего безрассудства и совершенного незнания нравственных и деятельных преданий Православной Церкви. Познание духов приобретается совершенно иначе, нежели как то предполагает неопытный и неосторожный испытатель. Открытое общение с духами для неопытного есть величайшее бедствие или служит источником величайших бедствий..."

Клюев имел подобный опыт, и он достаточно скоро воплотится в его стихах, когда рядом с ним появится совсем юноша — его надежда и упование, его собрат и духовный "супруг"... А пока Николай, впитывая каждое слово, читал письмо от незнакомца, полученное из Петрограда, в который был переименован Санкт-Петербург:

"Дорогой Николай Алексеевич!

Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своём рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли "Сев/верные/зап/иски/", "Рус/ская/ мыс/ль/", "Ежемес/ячный/ жур/нал/" и др. А в "Голосе жизни" есть обо мне статья Гиппиус под псевдонимом Роман Аренский, где упоминаетесь и Вы. Я хотел бы с Вами побеседовать о многом, но ведь "через быстру реченьку, через тёмный лесок не доходит голосок". Если Вы прочитаете мои стихи, черкните мне о них. Осенью Городецкий выпускает мою книгу "Радуница". В "Красе" я тоже буду. Мне очень жаль, что я на этой открытке ничего не могу ещё сказать. Жму крепко Вашу руку. Рязанская губ. Рязан. у., Кузьминское почт. отд., село Константиново, Есенину Сергею Александровичу".

И на обороте: "Мариинское почт. отд. Олонецкой губ. Вытегорского уезда, Николаю Алексеевичу Клюеву".

(Продолжение следует)